

ИВАНЕНКО Д. Д. — в ПКК (копия в ЦК ВКП)

ИВАНЕНКО Дмитрий Дмитриевич, родился 16 июля 1904 в Полтаве. В 1923 — окончил Полтавский педагогический институт, в 1927 — Ленинградский государственный университет, физик-теоретик. Работал научным сотрудником в Физико-математическом институте Академии наук в Ленинграде, с 1929 — старший научный сотрудник Украинского физико-технического института в Харькове, Кандидат физико-математических наук. С 1930 — заведующий кафедрой теоретической физики Харьковского механико-машиностроительного института, с 1931 — профессор Харьковского университета, затем — старший научный сотрудник Ленинградского физико-технического института, руководитель семинара по ядерной физике. С 1933 — профессор и заведующий кафедрой физики Ленинградского педагогического института. 27 февраля 1935 — арестован как социально опасный элемент, 4 марта приговорен к 3 годам ИТЛ и отправлен в Карлаг (жена, Оксана Федоровна Корзухина, выслана в Оренбурге).

В июле 1935 — он обратился за помощью в ПКК, передав копию своего заявления в отдел науки ЦК ВКП (б).

<9 июля 1935>

«В ЦК ВКП (б),
в Отдел Науки

(т<оварищу> Бауману, т<оварищу> Стоцкому)

От Д<митрия> ИВАНЕНКО, б<ывшего>
проф<ессора> Теорет<ической> Физики
и сотр<удника> Ленингр<адского>
Физико-техн<ического> Института
Акад<емика> Иоффе
Казахстан, Караганда, Карлаг НКВД,
Долинское четвертое отделение.

Уважаемые товарищи!

Не сочтите письмо мое наивностью или отчаянием человека, бросающегося во все стороны. Я нахожусь в непереносимом положении человека, по непонятным причинам оторванного от страны, работы, от семьи. Я заключен ныне в Карагандинский исправительный трудовой лагерь по постановлению Особого совещания НКВД от 4 марта с<его> г<ода> после ареста 27 февраля. Отлично сознавая необходимость повышенной бдительности и, в моем суровейшем испытании, ни на йоту не меняя своих принципиальных воззрений, я все же ни на мгновение не могу согласиться с правильностью, справедливостью, целесообразностью постановления НКВД. Мною подано ходатайство Верховному Прокурору СССР о пересмотре дела, и я решаюсь, после долгих размышлений, обратиться в ЦК с просьбой поддержать меня.

Два слова о деле: мне не предъявлено специальное обвинение, но я объявлен "социально опасным элементом". Подозрения против меня, насколько я понял из следствия, шли по линии происхождения и знакомств, в частности с физиком Гамовым. Отец мой, сын сельского дьячка, потом священника, окончил Университет и механически получил личное дворянство. Был мелким чиновником, статистиком, главным образом, журналистом и редактором газеты "Губернские ведомости" и "Полтавский голос" (беспартийных октябристского оттенка). Ныне отец

гос<ударственный> пенсионер, инвалид (ему 75 лет), пользуется избирательными правами (был временно лишен в 28-30 г<одах>, как совладелец газетной типографии). Моя мать все время работала учительницей, сестра была воспитательницей в известной колонии им<ени> Горького под Харьковом, литератор, очень популярная украинская детская писательница, постоянно упоминаемая на всех съездах и т<ак> д<алее>, член Союза Советских Писателей, состояла в комсомоле, выбыла по возрасту механически. Типичная интеллигентская, мелкобуржуазная разночинная семья, никакой речи, никакого следа дворянских или иных сословных традиций. Все время жили заработком, работали, давали уроки с гимназии, с шестнадцати лет я на своем иждивении, работал учителем и лектором Политпросвета в Полтаве. Все это трижды опровергает ложь о нашей семье, как социально чуждой. Жена моя врач (ныне в Оренбурге), дочь архитектора Волгостроя, внучка художника из крестьян, одного из основателей движения передвижников Корзухина. Его юбилейная выставка недавно состоялась в Ленинграде. Семья того же типа.

Мне излишне напоминать вам статью Крыленко ("Комсомольская Правда" от 21 мая) и Горького ("Литературные забавы", ч. III), где, с одной стороны, указывается, что даже дворянское, княжеское, если не ошибаюсь, происхождение критика Мирского не препятствует ему с пользой работать, с другой, — что непосредственно ко мне относится, — л и ч н о е дворянство явно объявляется ничего общего не имеющим с наследуемым сословным привилегированным потомственным дворянством. Мне излишне подчеркивать, что после замечания Сталина о не ответственности сына за отца, после опубликования проекта Конституции, мое указание на отсутствие социально-чуждого характера в моем интеллигентском происхождении совершенно излишне — настолько ничемными и устарелыми являются подозрения на этот счет в этот новый период развития социализма. Если мое интеллигентское, непролетарское происхождение и вызывало внимание лет пятнадцать назад, когда я входил в жизнь, то вся моя работа с подавляющей ясностью кричит буквально, что я всецело являюсь советским человеком. Я не могу допустить мысли, чтобы возможно было зачеркнуть всего человека, всю его работу и ценить его на основании его предков или родственников далекой степени (причем, и тогда я не вижу оснований для выбрасывания меня за борт советской жизни).

Мои университетские знакомые — и Гамов — составляли студенческую компанию, давно распавшуюся. Никто никогда репрессиям не подвергался, все пользовались доверием. С Гамовым я давно еле знаком, а с 32-го года абсолютно порвал знакомство и ни словом, ни строкой письма не обменивался. Настроены резко враждебно друг к другу. Все подозрения относительно каких-то антисоветских тенденций являются абсолютно неверным поклепом, не выдерживающим прикосновения фактов. Впрочем, никаких порочащих Гамова поступков не знаю и до сих пор и прежде не знал. В настоящее время он за границей, абсолютно никаких сведений о нем не имею, конечно.

Не буду затруднять ваше внимание мелкими, в смысле беглости их, предъявленными мне подозрениями, в большинстве обывательского типа клеветами, вроде "вы ругали советскую власть". С самой предельной честностью я заявляю, что все подозрения и обвинения совершенно неверны, и что я всегда был честным советским гражданином. С первых дней сознательной жизни (1930 год, когда я окончил гимназию шестнадцати лет) я осознал мировое значение борьбы за социализм, за новую культуру, что мне особенно было близко, и бесповоротно стал на платформу советской власти. Я всегда следовал линии партии и старался

подражать методам ее работы. На труднейшем пути приближения интеллигента, выходца из разночинной мелкобуржуазной семьи, к партии у меня были и приближения, и отходы. Я не буду делать здесь декларацию о своей стопроцентной близости, но категорически защищаю свое право быть свободным советским гражданином. Лышу себя надеждой, что моя вся, может быть, отчасти небезызвестная вам работа, является лучшим доказательством моих открытых честнейших советских воззрений. Все свои, иногда неприятные или большие ошибки я старался исправлять активнейшим образом и готов исправлять впредь. Моей тягчайшей ошибкой является, конечно, то, что я не изжил окончательно, несмотря на старания, индивидуалистических замашек в работе.

В тяжелую безмерно минуту своей жизни, теряя все ценное, что у меня есть — научную работу, теряя семью, свою страну, находясь в ужасном положении человека, павшего жертвой глубочайших недоразумений, я позволяю себе обратиться не только к юридическим высшим органам советской власти, не только к моим коллегам физикам, но и в ЦК партии, в Научный отдел ЦК, ибо я всегда был, этого нельзя от меня отнять никогда, активным солдатом фронта советской науки и культуры. Поймите, как трудно писать это письмо беспартийному интеллигенту, но высший орган советской науки и культуры, ее мозг, не может отбросить меня, ибо я являюсь живым человеком, да, живым в сталинском смысле этого слова. Я не ищю нигде каких-либо "добрых дядюшек", я рассчитываю лишь на минимальное внимание к человеку и элементарнейшую справедливость. В ваших руках вернуть к работе не бесполезного работника культурного фронта и не дать ему обратиться в никому ненужный полутруп. Извините за длинное письмо, такие пишутся не каждый день. Неужели мне не будет дана возможность еще раз написать письмо уже от непартийного большевика, как я смогу тогда назвать себя полным голосом, с заявлением о полнейшей преданности партии. Ибо что больше можно сделать? Остальное решать — дело партии. Разрешите коротко рассказать о моей работе. Все сказанное, конечно, абсолютно точно и легко проверяемо.

Научная работа моя шла в области теории квант и ее соединения с теорией относительности и в области атомного ядра. Я имею около тридцати публикаций в советских и иностранных органах. Многие методы мои оказались плодотворными (идея квантовой геометрии, квантование пространства) и привели к некоторым удачным, выходящим за обычные рамки работам. Я имею в виду, главным образом, обобщение уравнения Дирака на общую теорию относительности. Идеи эти далеко не исчерпаны и были в самое последнее время снова применены мною и Никольским (Академия наук) к построению нелинейной квантовой теории. Я уверен в большой плодотворности этого пути. Буквально теряю силу воли, видя, что я не в состоянии принимать участие в развитии теории. Мои работы занесены в актив советской и мировой физики. Комиссия института присудила мне кандидатскую степень за работы по уравнению Дирака и предложила готовить работы по ядру, как докторскую диссертацию. Указанные идеи и моя модель атомного ядра 1932 г<ода> (вымученные мною в многомесячных спорах, сомнениях и полемике даже с Дираком) не только неоднократно цитировались, но и продолжались самыми первыми теоретиками современности (Дирак, Гейзенберг, Шредингер и т. д.). В последней статье лидер теоретичес<кой> физики, нобелевский лауреат Гейзенберг обсуждает мои работы 1934 г<ода>, как важнейшие в физике ядра. Моя модель ядра вошла в книги, советские и иностранные. Уверяю вас, что это все очень не просто и не тривиально, и хотя все это, так сказать, удача, при моих средних способностях, но нет оснований отказать мне в возможности новых удач. Я много учился и накопил опыт в узкой, но

центральной, важнейшей научной области. В стране всего двадцать-тридцать теоретиков. Неужели у меня навсегда отнята возможность работать? Ведь так легко с каждым днем теряются знания и творческое напряжение, хотя моя голова и цепляется болезненно за остатки идей. Гибель моя, как физика, есть гибель самого ценного во мне, я не могу спокойно переживать эту бессмысленную трату сил. Кому когда была вредна моя научная работа? Неужели страна не использует моей специальности?

Как заведующий кафедрой физики Педагогического Института Покровского в Ленинграде (профессором я был уже с 1931 года, когда мне было 26 лет), я вывел кафедру на первое место, организовал первую в советских педагогических институтах студенческую лабораторию современной физики (раньше института Бубнова), ввел обязательную научную работу для сотрудников. Мы начали пересмотр всех учебников, дискуссионные общегородские собрания. Давно вышли из печати первые работы сотрудников пединститута, начатые при мне. Мне и моему коллективу было ясно, что затхлое довольно дело преподавания физики в стране нуждается в решительной реконструкции. "Пренебрежение педагогическими институтами граничит с преступлением", — как точно отметил Сталин. Мы начали постепенно борьбу за реконструкцию, за пересмотр элементарной физики с точки зрения высшей (в подражание знаменитой работе Феликса Кляйна по математике). Очень мало научных работников-физиков занимаются преподаванием. Во всех 6-ти пединститутах Москвы и Ленинграда только в нашем были физики-теоретики — так велика нехватка преподавателей. Очень хорошо было бы созвать всесоюзное совещание всех преподавателей (из средней школы), чтобы решительно двинуть это дело. Это было замечательно живое дело в молодом институте, с прекрасной инициативной дирекцией.

Как лектор, я читал лекции в Харькове (Механико-Машиностропительный институт), где заведовал кафедрой, в институте Марксизма), в Артиллерийской Академии, в Днепропетровском и Эриванском университетах. Отовсюду имел повторные приглашения. Всегда старался охватить научной пропагандой самые широкие слои, выйти за рамки академичности, перейти в организационную область. В Эривани с моим другом Амбарцумяном мы читали лекции, провели совещание в Наркомпросе и в университете, в библиотеке, о подъеме научной работы; беседы со студентами, перевозка телескопа из Ленинграда. Наконец, я был также инициатором первой и единственной экспедиции по космическим лучам на Алаге (силами ленинградского института и Наркомпроса Армении) — очень удачной, которую следовало бы повторить. К сожалению, как мне писали, работы по космическим лучам в Эривани заглохли. Выписывал молодых людей в Ленинград и так далее, действовал не как заезжий лектор, рвач, но советский физик школы Иоффе, не щадящий времени и сил (простите, но это так и было) для оживления и организации науки в далекой республике. Политическая задача большого масштаба, многих лет напряженной работы.

Здесь мне оскорбительна даже мысль, подозрения о каких-то антисоветских тенденциях. Они просто смешны, нелепы до бреда. Никто никогда в острой и ответственной деятельности моей, как профессора, не мог найти намек на антисоветское направление. Я брал комсомольцев на учет для лучшей подготовки, всегда ставил впереди политическую цель, руководясь указаниями партии. Мое глубочайшее убеждение, даже не убеждение и уверенность, а точное знание моей полезности побуждает меня бороться за право свободно работать в советской стране. Добрый десяток неисчерпанных идей и предложений позволяют мне беспокоить вас этим письмом. Не ошибается тот, кто ничего не делает. — Мой

наибольший промах (единственный, получивший печальную популярность) состоял в участии в телеграмме Гессену (автору статьи "Эфир" в БСЭ) издевательского характера. Неудачная редакция телеграммы действительно могла привести к мысли, что здесь идет речь не о полемике с автором, но дискредитации БСЭ. Я не только признал свою долю вины, но и постарался исправить ее активным путем. Я организовал первую ячейку БСЭ при Лен<инградском> Физ<ико>-Тех<ническом> Институте. Мы просматривали словник (в БСЭ, например, было пропущено слово "ядро"), статьи, писали, размещали заказы. Наша работа получила официальное одобрение редакции БСЭ и личное зам<естителя> ред<актора> БСЭ, проф<ессора> Максимова. Мне кажется, что подобные ячейки при институтах очень помогли бы работе. Мы старались внести, в частности, советский оттенок — биографии известных физиков, например и т<ому> п<одобное>. Наша БСЭ должна быть не хуже, напр<имер>, итальянской новой энциклопедии! (Физика там под редакцией Ферми). Неужели этот активный честный способ исправления ошибок возможен у чуждого человека?

Издательская работа, вообще, мне очень близка. С 1931 года я был консультантом и главным редактором теоретического отдела Лен<инградского> Отд<ела> Гос<ударственного> Тех<нического> Теор<етического> Издательства. Ленинградский Отдел стал выпускать 75% всех книг по физике (25% Москва). Мы старались выпускать не хуже за границы. Я лично перевел и отредактировал около десяти книг. По крайней мере, одна из них (Эддингтон, "Теория относительности"), судя по отзывам, выше и немецкого, и английского изданий. Я стремился к регулярному получению книг, рукописей, дополнений от лучших иностранных авторов, к рецензированию нашей продукции за границей, к одновременному выходу книг в переводе и в оригинале. Нам удалось достичь неожиданных успехов. Мы имели рукописи и дополнения, написанные специально для нас от крупнейших авторов: Дирак, Эддингтон, Мотт, Месси, Герни, Зоммервельд и т<ак> д<алее>, и т<ак> д<алее>. Это дело, товарищи, кто-то должен расширять; я уверен, что здесь можно смело идти на высшие мировые показатели в ближайшие же годы. Конечно, это не стоило нам ни копейки валюты. Ясна политическая цель подобного участия иностранцев, демонстрирующих нам свои симпатии к стране новой культуры социализма, а также необходимость одновременного и лучшего выпуска переводов. Я не знаю других издательств Союза, где бы велась подобная работа. После моей высылки эта работа, как мне писали и как видно из плана, совсем заглохла. Отмечу, что вопросы контакта с за границей можно понять шире, — что выходило за рамки издательства, — как продвижение наших книг за границу: у нас, например, был целый ряд заявок на книги из Чехословакии. Не буду говорить о подборе советских авторов, о двух новых сериях — атомного ядра (советские авторы) и классиков физических наук, — начатых непосредственно при моем участии. Серию классиков мы решили сделать лучше известной Оствальдовской. Я лично редактировал и писал примечания к первой книге: классики теории относительности. (Выпуск ее должен был быть некоторой сенсацией — к тридцатилетию релятивизма, 1905-1935, ввиду помещения там забытой статьи Пуанкаре, открывшего теорию относительности в одно время с Эйнштейном). Ныне книга вышла и получила лестную рецензию, как превосходящее иностранное издание, (см. журнал Сорена, 1936 г<ода>).

Товарищи, в каждой статье, журнале, газете своей я говорил, как патриот советской физики и советской культуры. Мои политические воззрения, в частности, ясны из активно отрицательного отношения к фашизму. Что фашизм, с его реакционнейшими взглядами,

антисемитизмом и проч^{ее}, омерзителен каждому советскому человеку — это ясно само собою. Я не политик в узком смысле, но солдат культурного фронта и счел долгом бороться с фашизмом на своем участке. Вместе с группой ленинградских физиков я поднял вопрос о статье-протесте в центральной прессе против варварского отношения фашистов к науке и о приглашении к нам евреев-физиков эмигрантов. Как раз именно мне пришлось писать Бухарину об этом (тогда нач^{альнику} НИО'а Наркомтяжпрома) и беседовать с ним. Тов^{арищ} Бухарин оказал всяческое содействие нам. В издательстве мною был предложен сборник "Фашизм и Наука", который должен был иллюстрировать средневековые средства борьбы с наукой в Германии. В этой своего рода "научной коричневой книге" можно было собрать интереснейший яркий материал, который стал бы глубоким агитационным средством и не только внутри Союза, я уверен. Масса материала помещается в английских научных журналах, либеральные буржуазные верхушки которых полемизируют с фашистами со своих позиций. Отрывочные материалы, появляющиеся в нашей печати, далеко не исчерпывающи; следовало бы использовать точную статистику разгрома немецкой науки, совершенно чудовищные средневековые планы Штарка, речь Вибербаха и т^{ак} д^{алее} (известные нам через английские журналы). Я хотел этой книгой, которая могла бы стать острым орудием, внести свою лепту работника культурного фронта социализма на борьбу с фашизмом именно в этой области, в которой я действую. Следовало бы, возможно, несколько, но не слишком, пожалуй, расширить рамки этой книги за физико-математические дисциплины. Как в данном вопросе (тривиальном, конечно, в смысле решения, ибо нет колебаний — за или против фашистского варварства), так и в других я хочу подчеркнуть не только свое, известное всем, в частности и иностранным физикам, бывавшим у нас, отрицательное отношение к фашизму, но и желание не просто словами, но и делом вести борьбу с фашизмом в духе политики партии, насколько я ее понимаю.

По инициативе проф^{ессора} Обреимова (бывшего директора Харьковского института) и моей в Харькове в 1929-1931 г^{одах} были созданы три первые всесоюзные теоретические конференции, сыгравшие большую роль для института, для объединения советских теоретиков. Значительно улучшился контакт с лучшими западными физиками, всегда участвовавшими в наших работах. Стали появляться общие работы, начался обмен новостями и т^{ак} д^{алее}. Я был секретарем и редактором трудов этих конференций. (Труды первой конференции напечатаны в *Physikalische Zeitschrift der Scyietunich* за 1929 год). Я был также инициатором и одним из секретарей и редакторов Трудов особенно удачной первой¹ всесоюзной ядерной конференции в Ленинграде в 1933 году. Она не только двинула дело ядра в Союзе (отмечу, что я был бессменным секретарем первого ядерного семинария в Физ^{ико}-Тех^{ническом} Институте, из "недр" которого родились как конференция, так и участие в полете стратостата, и экспедиция на Алагее и проч^{ее}, и проч^{ее}), но и широчайше популяризировала идеи современной физики в печати и на лекциях. Переполненные залы Академии Наук и Выборгского Дома Культуры на докладах Жолио, Дирака и других были, конечно, политическими событиями и для нас, и для иностранцев.

По иронии судьбы мне не пришлось еще побывать за границей и получить ту отшлифовку, в которой так нуждается научный работник, и которая дается только контактами с лидерами науки. Осенью 1934 года я имел приглашение на конгресс от Лондонского Королевского Общества. Институтская дирекция и парт^{ийная} организации поддерживали мою

¹ И единственной, ибо намеченная 2-я уже после моей высылки в 1935 году не состоялась.

кандидатуру, и поездка не удалась по техническим и, как будто, финансовым причинам. Мне еще в декабре 1934 года указывали, что я продолжаю быть вторым кандидатом на командировку в институте. Этим я с большой силой хочу подчеркнуть, что объявление меня антисоветским элементом было абсолютно неожиданным, не вызванным никакими действиями с моей стороны. Мне все время оказывалось все большее доверие, я старался оправдать его, иногда, как видно, не без успеха. Гнусное преступление 1 декабря вызвало во мне, как и во всяком советском честном работнике, совершенно однозначную реакцию. Излишне говорить, что я не позволил себе ни малейших обывательских пересудов или сплетен в этот напряженный момент. Мне больше всего дорого в нашей жизни новое строительство, прокладывание путей новой культуры — каким же образом я мог позволить себе хотя бы малейшую недисциплинированность в острый момент, когда ровный темп строительства нарушается какими-то дегенератами? Я пишу об этом моменте, ибо не могу не сознавать, что мой арест как-то связан с очисткой Ленинграда от антисоветских элементов и проч. Причисление себя к ним считаю исключительным оскорблением, за снятие которого буду бороться до последних сил.

В заключение я напомним свое существенное участие в очень трудном деле организации первого советского научного журнала на международных языках в Харькове в 1931-33 г<одах> Physikalische Zeitschrift der Scyietunich (Физический журнал Советского Союза, издание Наркомтяжпрома СССР). До сих пор 90% наших работ печатались в Германии. Журнал был задуман и проведен при непосредственной поддержке парт<ийной> организации института, по образцу предприятий пятилетки, как политическое начинание. Я был одним из инициаторов и самым непосредственным организатором журнала, его пропагандистом в Союзе (объезды) и за границей (письма), проводил его в Наркомтяжпроме и типографиях и т. д., и т. д. Я держал, как член редакции, ультра-советскую линию, проводил полный барьер для статей за границу, стоял за боевой советский журнал, не чисто академического типа, но с дискуссиями, рецензиями и проч., и проч. Ныне по нашим следам организованы еще 2 физико-химических журнала на иностранных языках и все получили мировое признание. Дело журнала настолько мое, я так много в него вложил своих сил и опыта, (написал, между прочим, единственную статью о нем в "Сорена"), и дело это настолько явно политически советское и столь успешное (хотя я не совсем согласен с линией нынешней "вялой" редакции), что я прошу вас, если хотите, отбросить все остальное и серьезно подумать: сделано ли это советским путем, советским человеком или нет? Если и здесь я ошибаюсь в чем-то, чего никто мне не мог объяснить, то я больше ничего не имею сказать.

Вся моя открытая активнейшая работа всегда была проникнута советскими тенденциями, больше того, я всегда гордился — при встречах с иностранцами, при лекциях в провинции, чувствуя себя представителем новой культуры, видя за собой богатейший резерв идей революции, применять которые каждый советский работник был обязан, ощущая в себе творческий напор идей новой культуры, брошенных на научный участок. Советская власть предоставила мне широчайшие возможности для работы, поставив на ответственный пост профессора, руководителя отдела в институте мирового масштаба (в Харькове) в 26 лет. Я уверен совершенно и по отзывам коллег, и по собственным успехам, и по внутреннему убеждению, что это доверие я всегда оправдывал. Всей своей жизнью, работой, планами я до конца сросся с нашим строительством, все больше и больше стараясь подражать крупным образцам лучших начинаний пятилетки. Мне скажут: пусть, никто вам и не

вменяет в вину преступлений. Но ведь основания для подозрения, для суждения о человеке, как опасном в будущем, нужно черпать из его прошлой работы. На чем же основан этот несправедливейший суровый прогноз? Будь я чужим, враждебно настроенным человеком, я, так сказать, "обиделся" бы. Лишь глубочайшее сознание своей абсолютной правоты, сознание своей явной полезности для советской науки и страны придает мне силы бороться до конца за возможность свободно работать по специальности, жить вместе с семьей. Любую ошибку я немедленно готов исправить активнейшим путем, но прошу мне указать эти ошибки. Позволю себе привести пример: объявление меня социально опасным подобно было бы заявлению, что мой родной язык не русский (хотя я всегда говорил, писал по-русски), но китайский, скажем; что хотя я по-китайски явно не говорю, но, возможно, заговорю в будущем. Конечно, я бы ответил, что китайский язык очень труден, мне неприятен, что русский язык мне нравится и т. д. Сознаюсь, этот спор о языке мне представляется весьма аналогичным моему делу, которое опирается на туманное подозрение, ничем не подкрепленное. Я понимаю суровость революционного закона, карающего за малейшие проступки, независимо от каких-либо заслуг. Но я не допускаю мысли о механической жестокости, выбрасывании человека, не совершившего и не помышлявшего ни о чем, кроме блага своей страны.

Товарищи, я прошу вашей помощи, неужели советской стране не нужен ученый, активный работник культурного фронта, накопивший немалый опыт, неужели вы дадите мне превратиться в никому ненужный полутруп (ибо науке "промедление времени смерти подобно", и угнаться за бурным темпом мне, быть может, никогда не удастся). Я прошу внимания, сталинского внимания к живому человеку, неужели я его совсем не заслужил? Скоро уже полгода, как я нахожусь в заключении — полгода в нашей стране и для физики равны в десять раз большему сроку. Я достаточно продумал еще раз бесповоротные до конца советские убеждения рядового культфронта социализма. Дайте же мне скорее возможность с удесятеренными силами и в сто раз большей политической щепетильностью работать, как советскому физику и гражданину. Это моральное убийство человека в разгар его работы совершенно чудовищно, я с трудом собираю свои силы, чтобы вынести его сейчас.

9 июля 1935 года.

Д. И в а н е н к о »².

В августе 1935 — к Е. П. Пешковой обратилась за помощью из Оренбурга Ксения Федоровна Корзухина, жена Дмитрия Дмитриевича Иваненко.

«Оренбург, 31 августа 35 г<ода>».

Многоуважаемая Екатерина Павловна,

я не обращалась до сих пор к Вам с просьбой, потому что думала, что все недоразумения, случившиеся с нами, должны разъясниться в ближайшее время. Но вот прошло уже ½ года, а перспектив никаких.

Мой муж Иваненко Дмитрий Дмитриевич, 31 г<ода>, был арестован в Ленинграде 27-го февраля и 19-го марта сослан на 3 года в Карагандинский конц<ентрационный> лагерь (Караганда, Долинка, 4-е отделение). Меня же принудили 9-го марта выехать из Ленинграда в Оренбург, тоже на 3 года, не дав перед отъездом даже увидеться с ним. Все мои родные — отец (архитектор-художник), мать и 2 старших сестры (обе научн<ые> работники) остались в Ленинграде. Свою дочку 3½ лет я

² ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 1511. С. 75-81. Машинопись.

также принуждена была оставить в Ленинграде, т<ак> к<ак> ехала на полную неизвестность, и хорошо сделала, т<ак> к<ак> живу здесь в плохих условиях и работаю сверх всяких сил с утра до вечера, т<ак> к<ак> должна содержать дочку в Ленинграде и поддерживать мужа в лагере. Я врач, окончила Лен<инградский> Медич<инский> Ин<ститут>т в 30-м году, сейчас мне 25 лет. Я вышла замуж, когда мне было 17 лет, но жизнь складывалась так, что за все 8 лет замужества вместе с мужем мне пришлось жить не больше 2-х лет — то в разных городах — он работал в Харькове, а я кончала Медицинский Ин<ститут>т в Ленинграде, то жили в Ленинграде, но на разных квартирах, так как не было своей, то он уезжал в длительные командировки. И вот опять 3 года впереди! У нас прекрасная, умная, здоровая дочка (портрет которой Вы наверняка знаете, т<ак> к<ак> ее физиономия неоднократно попадала в Детскую серию открыток). И вот теперь ни муж, ни я не видим ее уже ½ года — самое лучшее время, когда ребенку 3-4 года. Семья из 3-х человек в 3-х разных местах. Теперь главное — за что мы сосланы. Об этом я узнала только 2 недели тому назад, получив письмо от мужа. До этого я могла добиться лишь того, что я выслана исключительно как его жена, и что личных обвинений против меня нет никаких. Муж же обвиняется в том, что он сын бывшего личного дворянина и социально опасный элемент. И то и другое абсолютно неверно, выражаясь слабо. Отец мужа по отцу — сельский дьячок, потом священник. Отец мужа после окончания Университета получил личное дворянство, которое механически давалось окончившим Университет и не наследовалось (см<отпреть> статью Крыленко в "Комсомольской Правде" от 21 мая 35 года). Отец жил в Полтаве, был редактором "Полтавских Губернских Ведомостей". Затем был совладельцем типографии и издавал газету "Полтавский Голос". За эту типографию он был временно лишен избирательных прав, но теперь восстановлен и получает пенсию. После революции он работал статистиком и школьным учителем. Теперь ему 76 лет. Мать мужа — дочь мелкого банковского служащего (из евреев?) была учительницей; сейчас ее нет в живых. Сестра мужа — детская писательница (Оксана Иваненко), педагог, работала в колонии малолетних преступников. Относительно родственников 2-й ступени не берусь писать подробно, т<ак> к<ак> не знаю и никого из них не встречала, кроме одной двоюродной сестры мужа — В. Аловой, которая работает чертежницей в Л<енинградском> Госиздате и с которой я встречалась по службе. Знаю только, что никто из этих родственников не были дворянами, а работали инженерами, учителями, были студентами и т<ак> д<алее>. Теперь о муже: ему сейчас 31 год. В 20-м году он окончил Полтавскую школу и остался в той же школе преподавателем физики и математики (ему было тогда 16 лет). Затем был библиотекарем и лектором Политпросвета и Военных Курсов в Полтаве. Тогда же он прослушал курс Педагогического Полтавского Института. С 23-го по 27-й год он учился в Лен<инградском> Университете на физико-математическом отделении. Я знаю, как все студенческие годы он жил впроголодь и ходил в Университет пешком со второго Невского, не имея денег на трамвай. Окончив Университет, он остался работать лаборантом в Оптическом Ин<ститут>те, а в 28-м году стал сотрудником Физико-математического Ин<ститут>та Академии Наук, имея стипендию имени Стеклова. С 29 по 31 год он был руководителем Отдела Теоретической физики Украинского Физико-технического Ин<ститут>та в Харькове, где был инициатором, организатором и редактором журнала "Советской физики" (издававшегося на немецком языке). В 31-м году (26-ти лет) он был утвержден ВСНХ Украины профессором Харьковского Механико-Машиностроительного Ин<ститут>та (б<ывшего> Технологического), а впоследствии был профессором Ин<ститут>та

Марксизма. Т<аким> о<бразом> он был основоположником 3-х первых кафедр теоретической физики в Харькове. С 31-го он был сотрудником Физико-технич<еского> Ин<ститу>та акад<емика> Иоффе в Ленинграде, где был бессменным секретарем 1-го семинария по атомному ядру. До последнего времени в теч<ение> 3-х – 4-х последних лет он был главным редактором теоретического отдела Гос<ударственного> Технич<еского> теоретического издательства в Л<енинграде>, где организовал пересмотр всех учебников по физике. Не буду перечислять длинного списка книг, проредактированных и переведенных им с иностранных языков. В 34-м году он стал профессором и заведующим кафедрой физики в Лен<инградском> педагогическом ин<ститу>те им<ени> Покровского, где организовал новые студенческие лаборатории и вывел свою кафедру на первое место в Ин<ститу>те. Последние месяцы читал лекции в Л<енинградской> Артиллерийской Академии. Неоднократно его приглашали читать лекции в Днепропетровский, Эриванский Университеты и он всегда охотно ездил. Он организовал 1-ю экспедицию по космическим лучам в Эривани и перевозку туда телескопа. Он был инициатором, организатором и одним из секретарей 1-й Всесоюзной конференции по атомному ядру в Л<енинграде>. Вся эта кипучая организационная деятельность не мешала ему интенсивно заниматься научной работой. К моменту ареста он имел около 30-ти научных печатных работ по теоретической физике. 2 из них вышли, когда он уже был сослан, т<ак> что корректуры вел уже не он, многие из этих работ не только цитировались, но и продолжались лучшими современными теоретиками (Дирак, Гейзенберг, Шредингер). Его модель атомного ядра вошла уже в русские и иностранные книги по физике и в популярные брошюры. Наконец, в последнее время имя его попало в немецкую и итальянскую энциклопедии.

Нельзя не отметить, что в лице Иваненко мы имеем большого специалиста в своей области плюс далеко незаурядного педагога — сочетание, которое встречается не так часто.

Из этого краткого перечисления моментов его деятельности ясна полнейшая необоснованность причисления его к "социально опасным элементам". Согласитесь, что совершенная нелепость держать под замком человека, являющегося настоящим и полноценным энтузиастом советской науки. Вся его открытая и плодотворная работа является лучшим доказательством необоснованности обвинений (которые, впрочем, конкретно мне неизвестны). Я знаю, Вы завалены письмами подобного рода, но все же надеюсь, что пишу не безрезультатно.

Теперь — конкретная просьба: в начале июля я получила из Карагандинских лагерей копию разрешения на свидание с мужем на 5 суток. Но меня из Оренбурга не выпускают. Почему? Ведь я сослана исключительно, как его жена, и если разрешено ему меня увидеть, почему же не пускать меня? Заявление об этом прилагаю.

Заранее благодарю Вас за все, что Вы для нас сделаете.

Ксения Федоровна Корзухина.

Оренбург, Краснознаменная ул<ица>, 48»³.

На письме — помета заведующего юридического отдела Помполита: «Л<енингра>д. Препр<оводить> заявл<ение> о разр<ешении> поездки на свид<ание> и прос<ить> о пер<есмотре> дела».

³ ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 1303. С. 102-103. Автограф.

Осенью врачебная комиссия определила у отца Дмитрия Дмитриевича рак в последней степени. Мать его просила Е. П. Пешкову о помощи, чтобы сын успел проститься со своим отцом.

В сентябре 1935 — к М. Л. Винаверу обратилась за помощью Екатерина Павловна Леткова-Султанова, писатель и переводчик.

<20 сентября 1935>

«Глубокоуважаемая Михаил Владимирович⁴!

Умоляю Вас поторопить дело Иваненко. Ведь анализ показал, что у него рак, что же Вы? Для матери важен каждый день. Вы это понимаете, и я уверена, что сделаете все возможное, чтобы ходатайствовать скорей за разрешение ему приехать к родным.

Пожалуйста, поторопите, где следует. Пожалуйста!

Искренне Вас почитающая

Ек. Леткова-
Султанова.

Ленинград.
20/IX 35»⁵.

На письме — помета:

Дайте справку».

Судя по более поздней переписке, Дмитрий Дмитриевич получил разрешение приехать на несколько дней в Ленинград, чтобы увидеться с отцом. А 30 декабря 1935 — лагерь был заменен ссылкой на оставшийся срок, и Дмитрий Дмитриевич Иваненко был отправлен в Томск, с 1936 — старший научный сотрудник Сибирского физико-технического института, с 1936 — профессор и заведующий кафедрой теоретической физики Томского университета.

В апреле 1937 — к Е. П. Пешковой обратился за помощью Федор Алексеевич Корзухин, отец жены Д. Д. Иваненко — Оксаны Федоровны Корзухиной.

<28 апреля 1937>

«28/IV-37. Ленинград
Мойка 100, кв. 25
Корзухин Федор Алексеевич

Глубокоуважаемая
Екатерина Павловна!

В начале этого месяца я писал Вам, что, может быть, попаду в Москву; но это предположение не осуществилось. Поэтому, как я писал, хочу затруднить Вас просьбой — сообщить, если возможно, о следующих обстоятельствах.

1. Состоялось ли Постановление Ос<обого> Сов<ещания> при НКВД по делу Иваненко Дм<итрия> Дм<итриевича>, которое там находится на рассмотрении с июня месяца с<его> г<ода> с положительным, как мое в Верх<овной> прокуратуре Респ<ублики>? Меня поражает, что нет вообще никакого ответа так долго. Между прочим, как Вам известно, Д. Д. Иваненко получил в ноябре разрешение побывать в Ленинграде и использовал это разрешение. Я позволю себе просить Вас

⁴ Ошибка в отчестве Михаила Львовича Винавера.

⁵ ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 1310. С. 67. Автограф.

походатайствовать, если найдете возможным, о рассмотрении дела в НКВД.

2. Как обстоит вопрос о разрешении жене Д. Д. Иваненко — Оксане (Ксении) Федоровне Корзухиной приехать на побывку в Ленинград на свидание с ее пятилетней дочкой, которую она не видела уже более двух лет? О. Ф. Корзухина живет, как и Д. Д. Иваненко, в Томске, работает очень успешно врачом в тамошней больнице. Более чем двухгодичная разлука с матерью в таком возрасте очень тяжело сказывается на девочке, и хотелось бы думать, что, раз отцу дали такое разрешение, не должно было бы быть препятствий в таком же разрешении и для матери.

Вы чрезвычайно меня обяжете, если найдете возможность ответить или мне — по вышеуказанному адресу, или Д. Д. Иваненко, по адресу: Томск, площ<адь> Революции, 2, Сибирский Физико-Технический Институт, Дмитрию Дмитриевичу Иваненко — по Вашему усмотрению.

Искренне Вас уважающий и благодарный (подпись)⁶.

На письме — трудно разбираемая пометы секретаря ПКК: «1. Помочь ускорению — не можем <далее неразб.>».

С 1939 — Дмитрий Дмитриевич Иваненко стал профессором и заведующий кафедрой теоретической физики Уральского университета в Свердловске, с 1940 — Киевского университета. 25 июня защитил там докторскую диссертацию. С 1943 — профессор кафедры теоретической физики Московского государственного университета, с 1944 — заведующий кафедрой и в Московской сельскохозяйственной академии, организовал там биофизическую лабораторию. В 1950 — за работы по теории синхронного излучения получил Государственную премию (совместно с А. А. Соколовым и И. Я. Померанчуком). С 1950 — старший научный сотрудник Института теории естествознания и техники Академии наук. Известны его работы по теории космических ливней, учету лучистого трения, теории гравитации и т. д. 19 декабря 1994 — присуждено почетное звание «Заслуженный профессор московского университета». 30 декабря 1994 — скончался в Москве.

⁶ ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 1573. С. 98-99. Автограф.